

Спасибо, что скачали книгу с сайта <https://geroy-nashego-vremeni.ru>! На наших сайтах Вы найдете все об этом и других произведениях. Приятного чтения!

Михаил Лермонтов

Герой нашего времени

Краткое содержание (50%)

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль... Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени. Старая и жалкая шутка!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы спросите, что нравственность от этого выигрывает? – Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины.

Часть первая

I. Бэла

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неумоимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору. Я нанял целых шесть быков и нескольких осетин.

За моею тележкой четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху наложена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился: он молча отвечал мне и пустил огромный клуб дыма.

– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

– Вы, верно, недавно на Кавказе?

– С год, – отвечал я. – А что ж?

– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? Ужасные плуты! А что с них возьмешь?

– А вы давно здесь служите?

– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче Ермолове. Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился и мы продолжали молча идти друг подле друга.

– Завтра будет славная погода! – сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

– Что ж это? – спросил я.

– Гуд-гора.

– Ну так что ж?

– Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась..

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

– Придется здесь ночевать, – сказал он с досадою, – в метель через горы не переедешь.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля, прилепленная одним боком к скале, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле. У огня сидели две старухи, дети и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Мы приютились у огня и скоро чайник зашипел приветливо.

– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану..

– Преглупый народ! – отвечал он. – Поверите ли? ничего не умеют, не способны к образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет. Уж подлинно осетины!

– А вы долго были в Чечне?

– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода. Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

– А, чай, много с вами бывало приключений? – сказал я.

– Как не бывать! Бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку – желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям

– Не хотите ли подбавить рому? – сказал я, – у меня есть белый из Тифлиса;

– Нет-с, благодарствуйте, не пью. Я дал себе заклятье. Раз, знаете, мы подгуляли между собой, а ночью сделалась тревога, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насили ноги унес. Я тогда стоял в крепости за Тереком с ротою – этому скоро пять лет. Раз, осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски... Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, – к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке».

– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.

– Его звали... Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

– А долго он с вами жил? – спросил я опять.

– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

– Необыкновенные? – воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

– А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога.

Раз старый князь зовет нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж. Отправились. У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу.

– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.

– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка; потом, когда смеркнется, начинается, по-нашему сказать, бал. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором.

Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» – «Прелесть! – отвечал он. – А как ее зовут?» – «Ее зовут Бэлоу», – отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена – как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, – подумал я, – уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Я вышел освежиться. Мне вздумалось завернуть под навес, проверить лошадей.

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос Азамата, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. Присел я у забора и стал прислушиваться.

– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат, – если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

– Да, – отвечал Казбич, – в целой Кабарде не найдешь такой. Раз за мной неслись четыре казака, а передо мною был густой лес. Как птица нырнул конь между ветвями. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться. Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой прыгнул, скинув меня при

приземлении. Казаки, верно, думали, что я сгинул и бросились ловить моего коня. Пополз я вдоль по оврагу, – смотрю: лес кончился, несколько казаков ловят моего коня. Долго они за ним гонялись, но все впустую. До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, во мраке слышу голос моего Карагеза; это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

– Если б у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе весь.

– Не хочу, – отвечал равнодушно Казбич.

– Послушай, Казбич, – говорил, Азамат, – отдай мне лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь. В первый раз, как я увидел твоего коня – в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: Я умру, если мне не продашь его!

Мне послышалось, что он заплакал. В ответ на его слезы послышался смех.

– Послушай! – сказал твердым голосом Азамат, – видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Напрасно упрашивал его Азамат; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

– Меня? – крикнул Азамат, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» – подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья – и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

– Не лучше ли нам поскорей убраться? – сказал я Григорью Александровичу.

– Да погодите, чем кончится.

– Да уж, верно, кончится худо; – Мы сели верхом и ускакали домой.

– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая, – ведь ускользнул!

– И не ранен? – спросил я.

– А бог его знает! Живуши, разбойники! Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.

Дня через четыре приезжает Азамат к нам в крепость. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Раз Печорин ему и скажи:

– Скажи, Азамат, что бы ты дал тому, кто тебе эту лошадь подарил бы?..

– Все, что он захочет, – отвечал Азамат.

– В таком случае я тебе ее достану, только с условием... ты должен отдать мне Бэлу.

Азамат молчал.

– Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок.

– Согласен, – прошептал Азамат, бледный как смерть. – Когда же?

– В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов: остальное – мое дело. Смотри же, Азамат!

Я после говорил Печорину что это плохо, да только он мне отвечал, что черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, а что – Казбич разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?..

Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

– Азамат! – сказал Григорий Александрович, – завтра Карагез в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

– Хорошо! – сказал Азамат и поскакал в аул с Печориным. Как они сладили это дело,

не знаю, – только ночью они оба возвратились со связанной женщиной.

На другой день утром рано приехал Казбич. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице.

– Что с тобой? – спросил я.

– Моя лошадь!.. лошадь!.. – сказал он, весь дрожа.

В два прыжка он был уж на дворе и кинулся бежать по дороге... Вдали Азамат скакал на Карагезе; на бегу Казбич выхватил ружье и выстрелил, но промахнулся. Потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро стал просить, чтоб ему назвали похитителя. После отправился в аул, где жил отец Азамата, но найти его Казбич не нашел, а то как бы удалось Азамату увести сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Азамат так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову.

Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то пошел к нему. Дверь во вторую комнату у него была заперта на замок. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, – только он притворялся, будто не слышит.

– Господин прапорщик! – сказал я строго. – Разве вы не видите, что я к вам пришел?

– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? – отвечал он.

– Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан. Я все знаю, сдайте шпагу.

– Тем лучше: я не в духе рассказывать.

– Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо, что ты увез Бэлу...

– Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

– Все не надо!

– Да он узнает, что она здесь?

– А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

– Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотой портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

– Да покажите мне ее, – сказал я.

– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя.

– А что? – спросил я у Максима Максимыча, – в самом ли деле он приучил ее к себе?

– Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки. Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса.

Раз говорит он ей: – Послушай, моя пери, отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Или твоя вера запрещает полюбить меня? – Она побледнела и молчала. – Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? – Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. – Я тебя люблю; я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей? – продолжал Печорин.

Она призадумалась, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его целовала.

– Я твоя пленница; конечно ты можешь меня принудить, – и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату.

– Что, батюшка? – сказал я ему.

– Дьявол, а не женщина! – отвечал он, – я вам даю мое слово, что она будет моя... Хотите пари? – сказал он, – через неделю!

– Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он отправил нарочного в Кизляр за разными подарками. Но подарки подействовали только вполонину; она стала ласковее, доверчивее – да и только; так что он решил на последнее средство. Раз утром он оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! – сказал он, – ты знаешь, как я тебя люблю. Но я ошибся – ты не полюбила меня. Если хочешь, вернись к отцу, – ты свободна. Я должен наказать себя; прощай. А вась недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». – Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала и смертельно побледнела. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал – он в состоянии был исполнить, что сказал. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею.

– И продолжительно было их счастье? – спросил я.

– Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

– Да неужели, – продолжал я, – отец не догадался, что она у вас в крепости?

– Кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь. Вот он раз старик возвращался из напрасных поисков за дочерью, как вдруг Казбич, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья – и был таков. – Конечно, по-ихнему, – сказал штабс-капитан, – он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. Между тем чай был выпит. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро.

Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил. Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурей; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли...

– Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? – сказал я ему.

– Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть.

– Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

– Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, – прибавил он, указывая на восток, – что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, – воскликнул он, – что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» – закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов и начали спускаться. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, – а наш даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», – и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали.

Окончание истории Бэлы? Я пишу путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Название долины происходит от слова «черта», а не «черт».

– Вот и Крестовая! – сказал мне штабс-капитан, указывая на холм; на его вершине

чернелся каменный крест. Наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. С трудом мы пробирались. Два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору – две версты в два часа! Между тем тучи спустились, поднялся ветер, повалил град, снег. Кстати, об этом кресте существует предание, будто его поставил Петр I, но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание живо.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли.

– Плохо! – говорил штабс-капитан; – посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу.

– Ваше благородие, – сказал один извозчик, – ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется – верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду.

Вот мы и свернули налево и кое-как добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей. Оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурей.

– Все к лучшему! – сказал я, – теперь вы доскажете; я уверен, что этим не кончилось.

– А почему ж вы так уверены? – отвечал мне штабс-капитан, примигивая...

– Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

– Ведь вы угадали... Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства; я и рад был, что нашел кого баловать. А уж как плясала! Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая...

– А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

– Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Но Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: раз отправится стрелять, – целое утро нет; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо, – подумал я, верно между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним – Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

– А где Печорин? – спросил я.

– На охоте, еще вчера ушел, – наконец сказала она, тяжело вздохнув.

– Уж не случилось ли с ним чего?

– Я вчера целый день думала, – отвечала она сквозь слезы, – придумывала разные несчастья... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит. Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его – я княжеская дочь!..

– Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь: он человек молодой – походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

– Правда, правда! – отвечала она, – я буду весела. – И с хохотом начала петь, только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий. Мы пошли, ходили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на лошади, все ближе и ближе, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

– Это Казбич!.. – вскрикнула Бэла. – Это лошадь отца моего.

– Подойди-ка сюда, – сказал я часовому, – осмотри ружье да ссади мне этого

молодца, – получишь рубль серебром.

Мой гренадер приложился... бац!.. мимо; Казбич толкнул лошадь, пригрозил нагайкой – и был таков.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

– Помилуйте, – говорил я, – ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогли Азамату?

Тут Печорин задумался. «Да, – отвечал он, – надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменялся к этой бедной девочке. «Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив. В первой моей молодости я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу, я глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, – только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где-нибудь умру на дороге! Я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужели тамошная молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое.

– А все, чай, французы ввели моду скучать?

– Нет, англичане.

– А-га, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы! Все в мире несчастья происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

– Казбич не являлся снова, не иначе затевал что-нибудь худое. Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. Наконец в полдень отыскали проклятого кабана, но не убили и ни с чем отправились домой.

Мы ехали рядом, молча. Вдруг выстрел... Нас поразило одинаковое подозрение... Опрямев, поехали мы на выстрел – смотрим: летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Мы поехали следом. По причине неудачной охоты наши кони не были измучены и мы нагоняли. Я поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!.. Не стреляйте! Берегите заряд; мы и так его догоним». Но выстрел раздался, и пуля перебила

заднюю ногу лошади. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках Бэлу... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, раненный в плечо карабкался на утес; хотелось мне его снять – да не было заряда готового! Бэла лежала неподвижно, и кровь лилась из раны на спине ручьями... Она была без памяти. Мы перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы – ничто не могло привести ее в себя.

Мы поехали назад. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

– Выздоровела? – спросил я у штабс-капитана.

– Нет, – отвечал он, – а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила. Как случилось это все? Она вышла из крепости к речке. Казбич подкрался, – цап-царап ее и тягу.

– И Бэла умерла?

– Умерла; только долго мучилась. Около десяти часов вечера она пришла в себя и начала звать Печорина. – «Я умру!» – сказала она. Как ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; Печорин слушал ее молча, опустив голову, но не плакал.

К утру бред прошел и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Начала печалиться о том, что она не христианка и что иная женщина будет в раю Печорину подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью, но отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день.

Настала другая ночь. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна. После полудня она начала томиться жаждой. «Воды, воды!..» – говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели. Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась.

Его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью.

– А что Печорин? – спросил я.

– Печорин был долго нездоров, исхудал. Месяца три спустя его назначили в Е...й полк, и он уехал в Грузию.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел речь о Бэле и о Печорине.

– А не слышали ли вы, что сделалось с Казбичем? – спросил я.

– С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II. Максим Максимыч

Расставшись с Максимом Максимычем, к ужину поспел я в Владыкавказ. Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправляться обратно не может. Что такое «оказия»? Это прикрытые, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которыми ходят обозы.

Первый день я провел очень скучно; на другой приехал Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Вскоре несколько повозок въехало на двор и за ними дорогая пустая коляска. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку. Он был явно балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро.

– Скажи, любезный, – закричал я ему в окно, – что это – оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший подле него армянин, улыбаясь, отвечал, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

– Слава Богу! – сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. – Экая чудная коляска! – прибавил он, – верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис.

– Послушай, братец, – спросил штабс-капитан у лакея, – чья эта чудесная коляска?

– Чья коляска?.. моего господина... Печорина...

– Печорин?.. Боже мой!.. – сказал Максим Максимыч. В его глазах сверкала радость. – Григорий Александрович?.. Да знаешь ли? мы с твоим баринком были друзья закадычные, жили вместе... Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

– Да не зайдет ли он вечером сюда? – сказал Максим Максимыч, – скажи ему, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, однако уверил, что он исполнит поручение.

– Ведь сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, – пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.

– Максим Максимыч, не хотите ли чаю? – закричал я ему в окно.

– Благодарствуйте; что-то не хочется.

– Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

– А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, – да я все ждал...

Он выхлебнул чашку и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту, – сказал он, – так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...». Я обещался. Он побежал.

Утро было свежее, но прекрасное. Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем. Теперь я должен нарисовать портрет Печорина.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка. С

первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, выющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. У него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском. То был блеск стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Вообще он был очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Я подошел к Печорину.

– Если вы захотите еще немного подождать, – сказал я, – то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

– Ах, точно! Мне вчера говорили: но где же он? – Я обернулся и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; он хотел кинуться на шею Печорину, но тот только протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками.

– Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? – сказал Печорин.

– А вы? – пробормотал со слезами на глазах старик... – сколько лет... да куда это?..

– Еду в Персию – и дальше...

– Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?..

– Мне пора, Максим Максимыч, – был ответ.

– Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что подделывали?.. А помните наше житье-бытье в крепости? А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. – Мы славно пообедаем, – говорил он, – вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?

– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... – прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

– Забыть! – проворчал он, – я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!..

– Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески, – всякому своя дорога... Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

– Постой, постой! – закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, – совсем было позабыл... У меня остались ваши бумаги, что мне с ними делать?..

– Что хотите! – отвечал Печорин. – Прощайте...

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, – а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

– Да, – сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах, – Вишь, каким он франтом сделался. Скажите, – продолжал он, обратясь ко мне, – ну что вы об этом думаете?.. А, право, жаль, что он дурно кончит...

– Максим Максимыч, – сказал я, – а что это за бумаги вам оставил Печорин?

– А бог его знает! какие-то записки... велю наделать патронов.

– Отдайте их лучше мне.

– Вот они все, – сказал он, – поздравляю вас с находкою...Хоть в газетах их печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник?

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать.

– А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

– Нет-с, я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи... его дома не было... а я не дождался.

Бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, – и как же он был награжден!

– Очень жаль, – сказал я, – что нам до срока надо расстаться.

– Где нам, старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

– Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

– Да я, знаете, так, к слову говорю: а впрочем, желаю вам всякого счастья.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

Журнал Печорина

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки.

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека. Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял он наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою.

Я переменил все собственные имена и поместил в этой книге только то, что относилось к пребывания Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги.

I. Тамань

Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще в добавок меня хотели утопить. Я приехал поздно ночью. Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, только там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, придя небольшой хате на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка. Берег обрывом спускался к морю

почти у самых стен ее, и внизу далеко от берега, рисовались два корабля. «Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Я стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» – «Нема». – «Как? совсем нету?» – «Совсим». – «А хозяйка?» – «Побигла в слободку». – «Кто же мне отопрет дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белых глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, немых и проч. Я замечал, что как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство. Я глядел на него с сожалением, как вдруг едва приметная улыбка его произвела на меня самое неприятное впечатление. У меня родилось подозрение, что этот слепой не так уж и слеп; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно...

«Ты хозяйский сын?» – спросил я его наконец. – «Ни». – «Кто же ты?» – «Сирота, убогой». – «А у хозяйки есть дети?» – «Ни; была дочь, да утикла за море с татаринном». – «С каким татаринном?» – «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук... На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывается морской ветер. Я разложил вещи, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: казался мне во мраке слепой мальчик.

Так прошло около часа. Вдруг на полу промелькнула тень. Я взглянул в окно: кто-то вторично пробежал. Я встал, опоясал кинжал и тихо вышел; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел, и повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман. Слепой приостановился, потом повернул низом направо; видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень. Наконец он остановился, присел на землю и положил возле себя узел. Спустя несколько минут показалась белая фигура и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

– Что, слепой? – сказал женский голос, – буря сильна. Янко не будет.

– Янко не боится бури, – отвечал тот.

– Туман густеет.

– В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов.

– А если он утонет?

– Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты, – слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

– Видишь, я прав, – сказал опять слепой, – это не вода плещет, это его весла.

– Ты бредишь, слепой, – сказала она, – я ничего не вижу.

Признаюсь, я тоже не мог ничего увидеть. Так прошло минут десять; и вот показалась лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив! Лодка ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу. Надо было вернуться домой; но все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Утром я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик. Но, увы; комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через три, четыре придет почтовое судно». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

– Плохо, ваше благородие! – сказал он мне.

– Да, брат, Бог знает когда мы отсюда уедем!

- Здесь нечисто! Что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом...
- Да что ж? По крайней мере показалась ли хозяйка?
- Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.
- Какая дочь? У нее нет дочери.
- А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взошел в лачужку. В ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха отвечала, что она глухая, не слышит. Я обратился к слепому, который сидел перед печью. «Ну-ка говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, захохотал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого!» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку, сел у забора и забылся... Так прошло около часа... Вдруг песня поразила мой слух. Женский, свежий голосок, – но откуда? – звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью, она всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню о кораблицах.

Ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там уж не было. Вдруг она вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит: поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры. Странное существо! Она не была безумной, пронизательные глаза ее были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, в ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Она, то есть порода большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос – все это свело меня с ума.

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор.

– «Скажи, что ты делала на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда и счастье». – «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится». – «А как неравно напоешь себе горе?» – «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». – «Кто же тебя выучил эту песню?» – «Никто не выучил; вздумается – запою; кому услышать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». – «А как тебя зовут, моя певунья?» – «Кто крестил, тот знает». – «А кто крестил?» – «Почему я знаю?» – «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал - ты вчера ночью ходила на берег». Она не смутилась и захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете, так держите под замочком». – «А если б я, например, вздумал донести коменданту?». Она вдруг запела и скрылась. Впоследствии я имел случай раскаяться в последних словах.

Только что смеркалось, вдруг дверь скрипнула, я вздрогнул и обернулся, – то была она, моя ундица! Она села против меня тихо и безмолвно и взволновано. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный смущения. Эта комедия начинала меня надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила и поцеловала меня. Я сжал ее в моих объятиях, но она выскользнула, шепнув: «Нынче ночью выходи на берег», – и выскочила из комнаты.

Часа через два я разбудил казака. «Если я выстрелю из пистолета, беги на берег». Он машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Она дожидалась меня; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

Мы стали спускаться. «Взойдем в лодку», – сказала моя спутница; я колебался, но отступить было не время. «Что это значит?» – сказал я. «Это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей. Вдруг что-то упало в воду: пистолет. О, тут кровь хлынула мне в голову!.. Оглядываясь – мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! И вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба. «Чего ты хочешь?» – закричал я.

«Ты видел, – отвечала она, – ты донесешь!» – и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки, но я сумел сбросить ее в волны.

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как причалил. Пробираясь берегом, мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я почти обрадовался, узнав мою русалку. Скоро показалась вдали лодка. «Янко, – сказала она, – все пропало!» «А где же слепой?» – сказал наконец Янко. «Я его послала», – был ответ. Через несколько минут явился и слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

– Послушай, слепой! – сказал Янко, – ты береги то место... там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; Она поедет со мною.

– А я? – сказал слепой жалобным голосом.

– На что мне тебя? – был ответ.

Янко что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». – «Только?» – сказал слепой. – «Ну, вот тебе еще», – и упавшая монета зазвенела. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку и уплыл. Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. Казак, вопреки приказанию, спал крепким сном. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал – все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего!

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что случилось с старухой и с бедным слепым – не знаю.

Часть вторая (Окончание журнала Печорина)

II. Княжна Мери

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синее; на север поднимается Машук; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, городок, шумят целебные ключи, – а там, дальше, на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

* * *

Я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп; то были большею частью семейства степных помещиков. Наконец вот и колодец... Среди людей было несколько раненых офицеров с костылями – бледные, грустные. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус.

Я вдруг слышу за собой знакомый голос:

– Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!.. Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.

Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайной между им и небесами. Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен.

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать.

– Мы ведем жизнь довольно прозаическую, – сказал он, – пьющие воду – вялы, как все больные, а пьющие вино – несносны, как все здоровые. Женские общества одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель – как печать отвержения.

В эту минуту прошли мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! На второй было закрытое серо-жемчужное платье и легкая шелковая косынка. Ботинки красновато-бурого цвета у щиколотки ее сухощавую ножку очень мило. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

– Вот княгиня Лиговская, – сказал Грушницкий, – и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня. Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких.

– А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?

– О! – это московский франт Раевич! Он игрок.

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

– Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взглядом.

– Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза –

так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белые? Это очень важно!

– Ты говоришь о женщине, как о лошади, – сказал Грушницкий с негодованием.

– Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой, – отвечал я ему, передразнивая.

Я повернулся и пошел от него прочь. Проходя мимо кислосерного источника, я стал свидетелем довольно любопытной сцены. Княгиня с московским франтом были заняты серьезным разговором. Княжна прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было. Тут Грушницкий уронил свой стакан на песок и не мог его поднять: больная нога ему мешала. Княжна Мери к нему подскочила и подала стакан; когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом.

Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие.

– Ты видел? – сказал он, крепко пожимая мне руку, – это просто ангел!

– Она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку.

– И ты не был нисколько тронут, когда душа сияла на лице ее?..

– Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало по моему сердцу – зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться.

Молча с Грушницким прошли мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий бросил на нее нежный взгляд. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..

13-го мая.

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмеялся над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, показывая сильные неровности черепа. Черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный! Вот как мы сделались приятелями в одном разговоре молодежи:

– Что до меня касается, то я убежден только в том, – сказал доктор, – что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.

– Я богаче вас, – сказал я, – у меня, кроме этого, есть еще убеждение – именно то, что я

в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

С этой минуты мы отличили в толпе друг друга.

Я лежал на диване, когда Вернер взошел в мою комнату.

– Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне новость.

Он отвечал подумавши:

– В вашей галиматье, однако ж, есть две идеи. Скажите мне одну, я вам скажу другую.

– Хорошо, начинайте! – сказал я, улыбаясь.

– Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

– Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга. Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

– Вы очень уверены, что это княгиня... а не княжна?.. Почему?

– Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

– У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль..

– Завязка есть! – закричал я в восхищении, – об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.

– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой... Княгиня сказала, что ваше лицо и имя ей знакомо. Кажется, ваша история в Петербурге наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях... Дочка слушала с любопытством. Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

– Достойный друг! – сказал я.

– Если хотите, я вас представлю...

– Помилуйте! – сказал я, всплеснув руками, – разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

– И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

– Совсем напротив!.. Вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

– Княгиня – женщина сорока пяти лет, – отвечал Вернер, – у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. Княгиня очень любит молодых людей: княжна смотрит на них с некоторым презрением. Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

Сегодня у них был один адъютант и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини, хорошенькая, но очень больная... Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка.

– Родинка! – пробормотал я сквозь зубы. – Неужели? Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнесите обо мне дурно.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!

После обеда я пошел на бульвар: там княгиня с княжной болтали в центре толпы. Я поместился на другой лавке, остановил двух знакомых офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Я

продолжал увеселять публику до захождения солнца, переманив всех в мой кружок. Несколько раз взгляд княжны на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

Грушницкий следил за нею: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей и мне почти всегда удается.

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкескую лошадь, покрытую этим ковром.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает.

– Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? – сказал он мне вчера.

– Решительно. А ты у них бываешь?

– Нет еще... Если б я носил эполеты...

– Помилуй! да эдак ты гораздо интереснее! Солдатская шинель в глазах барышни тебя делает героем и страдальцем. Я уверен, что княжна в тебя уж влюблена!

Он покраснел до ушей.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

– У тебя все шутки! – сказал он, будто сердится, – она меня еще так мало знает...

– Женщины любят только тех, которых не знают.

– А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?

– Как? она тебе уж говорила обо мне?..

– Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Мой друг, Печорин! я тебе не поздравляю; ты у нее на дурном замечании...

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

– Да, она недурна... только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно, потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться...

* * *

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу – никого уже нет. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь.

– Вера! – вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

– Я знала, что вы здесь, – сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку.
– Мы давно не видались, – сказал я.
– Давно, и переменились оба во многом!
– Стало быть, уж ты меня не любишь?..
– Я замужем! – сказала она.
– Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем... – Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.
– Может быть, ты любишь своего второго мужа?.. Или он очень ревнив?
Молчание.

– Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... – я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаянье, на глазах сверкали слезы.

– Скажи мне, – прошептала она, – тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...

«Может быть, – подумал я, – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем – тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, – и будет обманывать, как мужа...

Муж Веры, Семен Васильевич Г...в, родственник княгини Лиговской. Вера часто бывает у княгини. Таким образом, мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастья, теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими. Однако мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? – оттого ли что я никогда ничем очень не дорожу? или это – магнетическое влияния сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается, я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют медленная горячка – болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью, – я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, на веки: оба пойдем разными путями до гроба.

Наконец мы расстались. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обаялся этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять?

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; на душе становится легко, усталость тела побеждает тревогу ума.

Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, я остановился,

чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада, впереди ехал Грушницкий с княжной Мери.

Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском обличии. Высокий куст закрывал меня от них. Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

– И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? – говорила княжна.

– Что для меня Россия! – здесь эта толстая шинель не помешала знакомству с вами...

– Напротив... – сказала княжна, покраснев.

– Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей.

В это время они поравнялись со мной; я выехал из-за куста...

– Боже мой, черкес!.. – вскрикнула княжна в ужасе.

– Не бойтесь, сударыня, я не более опасен, чем ваш кавалер. – я отвечал по-французски

Она смутилась, – но отчего? Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем? «Что делает теперь Вера?» – думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

– От княгини Лиговской, – сказал он очень важно. – Как Мери поет!..

– Знаешь ли что? – сказал я ему, – я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

– Может быть! Какое мне дело!.. А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость.

– Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

– Мне жаль, что не имею еще этого права... Теперь тебе трудно познакомиться с ними, – а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренне улыбнулся.

– Самый приятный дом для меня теперь мой. Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини... Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

– Да, если она захочет говорить с тобой...

– Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

21-го мая.

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей!

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она, с тех пор как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Она мне сказала шепотом:

– Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видаться...

Упрек! скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая.

В девять часов все съехались на бал. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Как быть? Где есть общество женщин – там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

– Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... Уж ее надо бы проучить...

– За этим дело не станет! – отвечал услужливый капитан.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать. Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Я сделал три тура. Она запыхалась, глаза ее помутились...

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

– Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

– И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении?

– Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения...

– Это будет трудно... Вы у нас не бываете, а эти балы не часто будут повторяться.

«Это значит, – подумал я, – что их двери для меня навеки закрыты».

В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъяснивший враждебные намерения против милой княжны. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против, он произнес хриплым дишкантом:

– Позвольте!.. я просто ангажирую вас на мазурку...

– Что вам угодно? – произнесла она дрожащим голосом. Увы! ее мать была далеко.

– Что же? Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!..

Я подошел к пьяному господину, взял его крепко за руку и попросил удалиться, – потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

– Ну, нечего делать!.. в другой раз! – сказал он, засмеявшись, и удалился.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом. Княжна подошла к своей матери и рассказала, та отыскала меня в толпе и благодарила.

– Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, – прибавила она, – Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Позже я не намекал княжне ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело. Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

– Вы странный человек! – сказала она потом.

– Я не хотел с вами знакомиться, – продолжал я, – потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

– Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

– Все! Неужели все? Даже мой друг Грушницкий?

– Он, конечно, не входит в разряд скучных...

– Но в разряд несчастных, – сказал я смеясь.

– Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

– Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

– А разве он юнкер?.. – сказала она быстро и потом прибавила: – А я думала...

– Что вы думали?..

– Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменял направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились. Я пошел ужинать и встретил Вернера.

– А-га! – сказал он, – так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

– Я сделал лучше, – отвечал я ему, – спас ее от обморока на бале!.. Отгадайте как, – о вы, отгадывающий все на свете!

23-го мая.

Грушницкий подошел ко мне и сказал трагическим голосом:

– Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?.. Мери мне все рассказала...

– А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

– Пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я надеюсь, она также меня любит...

– Это, может быть, следствие действия вод, – отвечал я.

– Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист!

В девятом часу мы вместе пошли к княгине. Вера тоже была. Я старался понравиться княгине, шутил.. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

– Довольна ль ты моим послушанием, Вера? – сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности.

Между тем княжне мое равнодушие к ней было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий пожирал ее глазами.

– Послушай, – говорила мне Вера, – ты должен непременно понравиться княгине. Мы здесь только будем видеться... Я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. Я, может быть, скоро умру, но я думаю только о тебе.

Между тем княжна Мери перестала петь.

– Вы меня вовсе не слушали; вы не любите музыки?.. – спросила она меня.

– Напротив... после обеда особенно.

– Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

– Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы.

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор. Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, – вам не удастся! Знакомая с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет...

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою наконец удалился.

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

29-го мая.

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, я оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй – рассердилась на меня, в третий – на Грушницкого.

– Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким? – сказала она мне вчера.

Я отвечал, что жертвую счастьем приятеля своим удовольствием...

– И моим, – прибавила она.

Вечером она была задумчива, утром когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, но завидев меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно, Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я добиваюсь любви молоденькой девочки, на которой никогда не женюсь? Вера меня любит больше. Если б княжна мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия... Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та молодая беспокойная потребность любви, которая бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может...

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего?

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок; его надо сорвать и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает. Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идеи – создания органические: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы. Душа со временем узнает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следовательно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

* * *

Грушницкий был произведен в офицеры. Мы выпили шампанского.

– Я вас не поздравляю, – сказал Доктор Вернер Грушницкому. – Солдатская шинель к вам очень идет, и армейский пехотный мундир не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

– Толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Я ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир. И пожалуйста, не говорите ей... Я хочу ее удивить...

– Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился: ему хотелось похвастаться, солгать – и было стыдно признаться в истине.

– Как ты думаешь, любит ли она тебя?

– Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

– Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

– Она?.. – отвечал он, подняв глаза к небу и улыбнувшись, – мне жаль тебя, Печорин!..

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. Я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки. Разговор наш начался злословием: я стал перебирать черты наших знакомых. Я начал шутя – и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

– Вы опасный человек! – сказала она мне, – когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня. Вы хуже, чем убийца...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

– Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромн – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, – меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины...

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; ей было жаль меня! Сострадание – чувство, которому покоряются так легко все женщины.

Мы пришли к привалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку...

– Не правда ли, я была очень любезна сегодня? – сказала мне княжна.

Мы расстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю – вот что скучно!

4-го июня.

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

– Лучше скажи мне просто, что ты ее любишь., – говорила мне Вера.

– Но если я ее не люблю?

– То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Приедешь?..

Я обещал – и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне и объявил, что завтра к балу будет готов его мундир.

– Когда же бал?

– Да завтра! Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

Я ушел и, встретив Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована. Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

– Вы будете завтра приятно удивлены, – сказал я ей, – но это секрет...

Я окончил вечер у княгини; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, прикрыв все это вымышленными именами. Я так живо изобразил мою нежность, я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной. Она встала, подсела к нам, оживилась.

5-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий полным сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура; сапоги его скрипели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, наверху на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью.

– Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? – сказал он.

– Где нам, дуракам, чай пить! – отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

– Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Нет ли у тебя духов?

– Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

– Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

– Ты будешь танцевать? – спросил он.

– Не думаю. А ты звал ее на мазурку? Смотри, чтоб тебя не предупредили...

– В самом деле! – Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? Судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя.

Войдя в залу, я начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам.

– Вы меня мучите, княжна! Вы так переменялись – говорил Грушницкий.

– Вы также переменялись, – отвечала она с тайной насмешкой.

– Я? я переменялся?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

– Потому что я не люблю повторений, – отвечала она, смеясь...

– О, я горько ошибся!.. Лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я обязан вашим вниманием...

– В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел.

– Не правда ли, мсье Печорин, что шинель больше идет к мсье Грушницкому?..

– Я с вами не согласен, – отвечал я, – в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого. Он бросил бешеный взгляд и отошел прочь. Потом целый вечер преследовал княжну. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

– Я этого не ожидал от тебя, ты с нею танцуешь мазурку? – спросил он торжественным голосом. – Она мне призналась... Уж я отомщу!

– Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?.. Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь – понимаю, а кто ж надеется?

– Ты выиграл пари – только не совсем, – сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали; это явно был заговор против меня.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно

драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид... Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, – вот что я называю жизнью.

6-го июня.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, – больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость.

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!

7-го июня.

В одиннадцать часов утра я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила. Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны.

Я тихо подошел к ней и сказал:

– Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; глаза наполнились слезами; она опустила в кресла и закрыла лицо руками.

– Вы меня не уважаете!.. О! Оставьте меня!..

Я остановился, взявшись за ручку двери и сказал:

– Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Прощайте.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

– Правда ли, – спросил он, – что вы женитесь на княжне Лиговской? Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью.

«Это шутки Грушницкого!» – подумал я.

– Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

– Так вы не женитесь?..

– Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха?

– Я этого не говорю... но вы знаете, есть случаи... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец...

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!

10-го июня.

Вот уж три дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условного знака; мы встречаемся. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы.

Мне часто кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико княжны. Уж много карет проехало по этой дороге, – а той все нет.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется. Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно – несчастья развивают в нем воинственный дух.

11-го июня.

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! Зато Вера ревнует меня к княжне. Нет ничего парадоксальнее женского ума; женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики.

Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня, но я замужем: следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, – следовательно...

Что, если когда-нибудь эти записки попадут женщине? «Клевета!» – закричит она.

С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают, их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью, – мне, который, кроме их, на свете ничего не любил. Но все, что я говорю о них, есть только следствие

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намерен сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Ерусалиме». «Только приступи и на тебя полетят такие страхи... Надо только идти прямо, – и открывается пред тобой тихая поляна и зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилён происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска есть скала, называемая Кольцом. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Я взял под уздцы лошадь княжны; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уж на середине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» – проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите вверх! – шепнул я ей, – это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

– Что вы со мною делаете? Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щеки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади; никто не видал.

– Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она. – Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить? Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. – В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться. Я ничего не отвечал.

– Вы молчите? – продолжала она, – вы хотите, чтоб я первая сказала, что люблю?..

Я молчал...

– Хотите ли этого? – продолжала она.

– Зачем? – отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге;

это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда она уж она присоединилась к остальному обществу.

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развевать мысли, толпившиеся в голове моей. В одном из домов слободки заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, избличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслышать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан требовал внимания.

– Печорина надо проучить! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

– И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, – да, трус!

– Я думаю тоже, – сказал Грушницкий. – Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в шутку.

– Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, – сказал кто-то.

– Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, – о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! – сказал опять драгунский капитан. – Хотите испытать храбрость Печорина? Это нас позабавит... Грушницкий на него особенно сердит – ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит – на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

Я с трепетом ждал ответ Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? – думал я. – За что? – и я чувствовал, что ядовитая наполняла мою душу. «Берегись, господин Грушницкий! – говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. – Со мной этак не шутят.

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Полуночью я встретил княжну у колодца.

– Вы больны? – сказала она, пристально посмотрев на меня.

– Я не спал ночь.

– И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все... только говорите правду... Видите ли, я много думала, старалась объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... я их упрошу. Она схватила меня за руки. Я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

– Я вам скажу всю истину, – отвечал я княжне, – я вас не люблю...

Ее губы слегка побледнели...

– Оставьте меня, – сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь! свободы моей я не продам. Это какой-то врожденный страх... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она мне предсказала мне смерть от злой жены... Что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка, чтобы во время представления я пришел к ней.

«А-га! – подумал я, – наконец-таки вышло по-моему».

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Грушницкий сидел в первом ряду. Он мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

– Никто тебя не видал? – сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

– Никто!

– Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась...

Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки ревности, жалобы, – она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался.

– Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает...

* * *

Около двух часов я спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

– Ага! – сказал грубый голос, – попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

– Держи его крепче! – закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

– Печорин! вы спите? здесь вы?.. – закричал капитан.

– У меня насморк, – отвечал я, – боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная.

16-го июня.

Понутру только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Я встретил мужа Веры и мы пошли в ресторацию завтракать. В ресторации я снова подслушал Грушницкого.

– Я вам расскажу всю историю, – отвечал Грушницкий, – вчера один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, как кто-то прокрался в дом к Лиговским.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог слышать вещи для себя довольно неприятные.

– Вот видите ли, – продолжал Грушницкий, – мы и отправились. До двух часов ждали в саду. Наконец сходит кто-то с балкона. Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как

заяц, деру! Вы не верите? Даю вам честное благородное слово, что все это сушая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина – Печорин.

Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

– Прошу вас, сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении.

– Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить...

– Хорошо, – отвечал я ему холодно и, взяв драгунского капитана, вышел из комнаты.

– Что вам угодно? – спросил капитан.

– Вы приятель Грушницкого – и, вероятно, будете его секундантом?

– Вы отгадали, – отвечал он, – я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью.

– А! так это вас ударил я так неловко по голове?

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

– Я буду иметь честь прислать к вам моего секунданта, – прибавил я.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

– Благородный молодой человек! – сказал он. – Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Слава богу, у меня нет дочерей! Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все. Теперь дело выходило из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки. Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

– Против вас точно есть заговор, – сказал он. – Я нашел у Грушницкого драгунского капитана. У них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! – говорил Грушницкий, – он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое...» – «Какое тебе дело? – отвечал капитан, – я все беру на себя. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» В эту минуту я взошел. Они замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах – этого требовал Грушницкий. Убитого – на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они хотят зарядить пулюю один пистолет Грушницкого. Только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? Должны ли мы показать им, что догадались?

– Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны, я им не поддамся.

– Что же вы хотите делать?

– Это моя тайна. Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы...

* * *

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... Но что, если моя звезда наконец мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно.

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения. Как орудие казни, я упал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без

сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя.

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни скажут: он был добрый мальчик, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. Смешно и досадно!

Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить. Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка.

– Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей. Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Я не помню утра более голубого и свежего! Я помню – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Мы ехали молча.

– Написали ли вы свое завещание? – вдруг спросил Вернер.

– Нет.

– А если будете убиты?..

– Наследники отыщутся сами. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут, женщины, которые будут смеяться надо мною, – бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей – и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем.

– Мы давно уж вас ожидаем, – сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

– Мне кажется, что вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

– Я готов, – сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид.

– Объясните ваши условия, – сказал он.

– Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

– Мы будем стреляться...

– Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

– Я желаю, чтобы это были вы...

– А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались.

Ко мне подошел доктор.

– Послушайте, – сказал он с беспокойством, – вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

– Господа, это становится скучно! – сказал я им громко, – драться так драться.

– Мы готовы, – отвечал капитан. – Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

– Позвольте! – сказал я, – еще одно условие: мы будем драться насмерть, но секунданты не должны быть в ответственности. Согласны ли вы?.. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоростижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

– Пожалуй! – сказал драгунский капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то, но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой.

– Я вам удивляюсь, – сказал доктор, пожав мне крепко руку. – Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза блестят.

Вдруг мелкие камни с шумом покатались нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся и скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиной к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решил предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать...

– Бросьте жребий, доктор! – сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

– Решетка! – закричал Грушницкий.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

– Вы счастливы, – сказал я, – но если вы меня не убьете, то я не промахнусь.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного.

– Пора! – шепнул мне доктор, – если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

– Ни за что на свете, доктор! – отвечал я, удерживая его за руку, – вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

– О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Вдруг он опустил дуло пистолета и побледнел как полотно.

– Не могу, – сказал он глухим голосом.

– Трус! – отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено.

– Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! – сказал капитан, едва удерживаясь от смеха. – Не бойся, – прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого.

Я несколько минут смотрел Грушницкому пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

– Я вам советую перед смертью помолиться богу, – сказал я ему тогда, – и вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?..

– Господин Печорин! – закричал драгунский капитан, – скорее.
– Хорошо, доктор, подойдите ко мне.
Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно.
– Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!
– Не может быть! – кричал капитан, – я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... это не моя вина! – А вы не имеете права перезаряжать... я не позволю...
– Хорошо! – сказал я капитану, – тогда мы будем с вами стреляться... – Он замялся.
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.
– Оставь их! – сказал он наконец капитану, – ведь ты сам знаешь, что они правы.
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.
– Грушницкий! – сказал я, – еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурочить, и мое самолюбие удовлетворено.
Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.
– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...
Я выстрелил... Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было...
– Комедия окончена! – сказал я доктору.
Он с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами.
Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза... У меня на сердце был камень.
Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один.
Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры. Я распечатал первую, она была следующего содержания:
«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»
Я долго не открывал вторую записку... Тяжелое предчувствие волновало мою душу.
Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:
«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью. Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.
Мы расстанемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, так как никто столько не старается уверить себя в противном.
Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.
Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза;; мне казалось, что я сойду с ума... но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не помню, что я ему отвечала... верно, сказала, что я тебя люблю... Помню только, что он оскорбил меня и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, – но что за нужда?... Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня.

Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! Я молился, проклинал плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете! И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Эссентуков – казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Вдруг на крутом повороте, конь грянулся о землю. Я проворно соскочил. Через несколько минут он издох; я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно.

Взошел доктор: он был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки.

– Откуда вы, доктор?

– От княгини Лиговской; дочь ее больна – расслабление нервов... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается. Княгиня говорила, что вы стрелялись за ее дочь. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, и он вышел.

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н., я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь важное? – я отвечал, что желаю ей быть счастливой.

– А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Она явно не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пальцы стучали по столу.

– Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек. Хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, – следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиною. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей. Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиною... Послушайте: вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, – разувьтесь! я хочу только счастья дочери. Говорите, что вас удерживает?.. Она заплакала.

– Княгиня, – сказал я, – позвольте поговорить с вашей дочерью наедине...

– Никогда! – воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

– Как хотите, – отвечал я, приготавливаясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и вошла она, Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал

ее, – а давно ли? Она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду.

– Княжна, – сказал я, – я над вами смеялся.. Вы должны презирать меня. Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

– Боже мой! – произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

– Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твердым голосом, – не могу на вас жениться, если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объяснить с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

– Я вас ненавижу... – сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска.

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III. Фаталист

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице. Однажды, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, будто судьба человека написана на небесах; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra.

– Все это, господа, ничего не доказывает, – сказал старый майор, – ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения?

– Конечно, никто, – сказали многие, – но мы слышали от верных людей...

– Все это вздор! – сказал кто-то, – где эти верные люди?

В это время один офицер встал, и медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками никогда не волочился. Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, все бросилось к оружию. «Поставь ва-банк!» – кричал Вулич, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», – отвечал тот, убегая. Вулич докинул талью, карта была

дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

– Семерка дана! – закричал он и вынул свой кошелек и отдал его, несмотря на возражения о неуместности платежа. После, он до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда Вулич подошел к столу, все ожидали какой-нибудь оригинальной выходки.

– Господа! Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью... Кому угодно?

– Предлагаю пари! – сказал я шутя, – Утверждаю, что нет предопределения.

– Держу, – отвечал Вулич глухим голосом.

– Хорошо, – сказал майор, – только не понимаю, как вы решите спор?..

Вулич подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял один из пистолетов; взвел курок и насыпал на полку пороху и приставил к голове. Несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы.

– Вы нынче умрете! – сказал я ему.

– Может быть, да, может быть, нет... Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

– Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! – закричал кто-то.

Составились новые пари.

– Господин Печорин, сказал Вулич, – возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

– Слава Богу! – вскрикнули многие, – не заряжен...

– Посмотрим, однако ж, – сказал Вулич. Он взвел опять курок и выстрел раздался.

Минуты три никто не мог слова вымолвить.

– Вы начали верить предопределению? – спросил он меня.

– Верю; но не понимаю, отчего мне казалось, будто вы должны нынче умереть...

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича.

Я возвращался домой. Мне стало смешно, когда я вспомнил, что некогда люди думали, что звезды принимают участие в наших ничтожных спорах... Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо на них смотрит с участием! А мы, их жалкие потомки, равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою...

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление. В тот вечер я твердо верил в предопределение: доказательство было разительно, но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то. Предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Тут два казака выбежали из переулка, один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры. Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты и бросился на постель. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?

– Вулич убит.

– Да куда же?

– Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось. Вулич шел один по темной улице: на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью. На последнем издыхании он сказал только два слова: «Он прав!». Мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Вот, наконец, мы пришли; смотрим: вокруг хаты стоит толпа. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние - то была мать убийцы.

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

– Согрешил, брат Ефимыч, – сказал есаул, – так уж нечего делать, покорись!

– Не покорюсь! – отвечал казак.

– Побойся Бога. Ведь ты честный христианин!

– Не покорюсь! – закричал казак, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

– Эй, тетка! – сказал есаул старухе, – поговори сыну, авось тебя послушает...

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

– Василий Петрович, – сказал есаул, подойдя к майору, – он не сдастся – я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

– Погодите, – сказал я майору, – я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить, и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

– Ах ты окаянный! – кричал есаул. Он стал стучать в дверь изо всей силы, я оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и преступник был связан. Офицеры меня поздравляли – точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом?

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения.

– Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; зато уж шашки у них – просто мое почтение! Да, жаль беднягу...

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Спасибо, что скачали книгу с сайта <https://geroy-nashego-vremeni.ru>! На наших сайтах Вы найдете все об этом и других произведениях. Приятного чтения!